

**Издательство „ПРАВО и ЖИЗНЬ“**

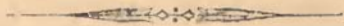
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

профессоров А. М. ВИНАВЕРА, М. Н. ГЕРНЕТА и А. Н. ТРАЙНИНА.

---

**А. Ф. КОНИ.**

**САМОУБИЙСТВО  
В ЗАКОНЕ И ЖИЗНИ.**



Издательство „ПРАВО и ЖИЗНЬ“, ул. Крпоткина, (Пречистаяна, 17).  
**МОСКВА, —1923.**

ЛЮДИ И Я

СПбГУ

## Самоубийство в законе и жизни.

Черное крыло насильственной смерти от собственной руки все более и более разворачивается над человечеством, привлекая под свою мрачную тень не только людей, повидимому обтерпевшихся в жизни, но и нежную юность, и тех, кто дожил до близкой уже могилы. Случаи самоубийства перестали быть единичным, хотя и частым, окончанием расчетов с жизнью, а обратились в целое общественное явление, даже в бедствие, заслуживающее внимательного изучения и обдуманной борьбы с ним. Повсюду оно растет, обманывая всякие статистические предположения и предвзятые формулы. Достаточно указать на то, что согласно исследованиям Морзелли, в Германии с 1890 года по 1900 на миллион смертей приходилось 2700 самоубийств, а с 1900 по 1910 уже пять тысяч, и что в Петербурге за 40 лет самоубийства и покушения на них дошли с 210 случаев в 1870 году до 3196 в 1910 г., тогда как, в связи с возрастанием населения Петербурга с 600 тысяч человек до 1.800.000, это увеличение должно бы составить лишь 630 случаев, а не превышать эту цифру более, чем в пять раз.

Ошибочно объяснять это триумфальное шествие самоубийства увеличением душевных заболеваний, как это делают некоторые. Увеличения последних отрицать нельзя, но наблюдения показывают, что то и другое явление увеличиваются под влиянием самостоятельных причин, вне зависимости друг от друга, при чем развитие душевных заболеваний всегда превосходит увеличение народонаселения, но в меньшей мере, чем самоубийства. Так, например, в Соединенных Штатах Северной Америки за 40 лет с 1870 года население увеличилось на 60%, сумасшествие на 100%, а самоубийства на 270%. Нельзя отрицать довольно крупного числа случаев самоубийств у душевнобольных, но исследованиями Бриер-де-Баумана, докторов Жаке, Прево и Островского, установлен приблизительный процент лишающих себя жизни в состоянии сумасшествия, состав-

ляющих около 17% всего числа самоубийств. Поэтому утверждение Крафт-Эббинга, что каждое самоубийство должно быть приписано сумасшествию, покуда не будет точно доказано противное, представляется лишенным прочного основания. Скорее, в виду приведенного процентного отношения, можно сказать, что самоубийство должно считаться результатом сознательной и дееспособной воли, покуда не будет в каждом отдельном случае доказана наличность ясно выраженной душевной болезни. Некоторые из единомышленников Крафт-Эббинга относят к признакам душевной болезни, как причины самоубийства, такие угнетающие психические влияния, как стыд, чувство невыносимой обиды, тоска по умершим близким, или тяжелая разлука с ними, глубокое негодование, отчаяние, ревность и даже страстная любовь. Но не придется ли с этой точки зрения считать душевно больным почти всякого, проявляющего чуткую отзывчивость на житейские условия и обстоятельства и, вообще говоря, живущего, а не только существующего, мыслящего и страдающего, не только вегетирующего и прозябающего?

Стремление преувеличивать число душевнобольных самоубийц основывается нередко на ошибочном толковании ненормального душевного состояния лиц, умирающих после своего покушения на самоубийство. Но такое ненормальное состояние в большинстве случаев не может иметь ретро-спективного значения. Потрясение организма, вызванное покушением, вид отчаяния окружающих, скорбь по уходящей жизни, получившей иногда неожиданную цену, наконец, предсмертные физические мучения—создают такое ненормальное состояние умирающего, которое не имеет прямого отношения к ясному разумению им своего поступка перед его совершением. Точно также и предлагаемое некоторыми сопоставление протоколов обществ страхования жизни с последующим самоубийством страхованных вовсе не может служить доказательством душевной болезни лишившего себя жизни, так как могут быть такие гнетущие душу обстоятельства, при которых мысль об отказе близким в страховой премии со стороны общества не только отходит на задний план, но и совершенно не приходит в голову. Так иногда случается при острых вопросах личной чести, при желании закрепить свое доброе имя добровольной кончиной, когда не хватает способности „*propter vitam vivendi perdere causas*“. Кроме того, удрученное перед смертью настроение ошибочно считать душевной болезнью. То, что итальянцы определяют словом *ambiente*, обнимающим собою среду, обстановку, условия жизни частного человека, и рядом с этим социальные и политические потрясения—могут вызвать такое именно удрученное настроение в том, кто не может

и не умеет, подобно животному, и притом низшей породы, относиться ко всему его окружающему безразлично и впасть в то, что Герцен называл „тупосердием“.

В некоторых случаях последователи новейших уголовно-антропологических теорий о вырождении и атавизме отмечают *прирожденных* самоубийц, обыкновенно ссылаясь на очевидную ничтожность поводов к самоубийству. Нельзя, конечно, отрицать влияния наследственности в тех случаях, когда в ряде восходящих поколений были постоянные самоубийства. „Бог прощает—говорит Гете—природа никогда“. Но неважность повода не может служить основанием для суждения о *прирожденности* стремления к самоуничтожению.

Уголовные антропологи считают, что самоубийство и убийство вытекают из одного и того же психологического и физического источника, представляя известный параллелизм. Поэтому следовало бы искать у *прирожденных* самоубийц физических признаков вырождения, свойственных, по мнению Ломброзо, *прирожденным* убийцам (морелевских ушей, гутченсоновских зубов, седлообразного неба и т. д.), но рядом судебно-медицинских исследований установлено, что именно этих типичных признаков у самоубийц не замечается. Затем те и другие существенно различаются по условиям совершения своих деяний, по месту, времени года и т. д. Притом учение о *прирожденных* преступниках в последнее время в значительной степени поколеблено, и дикарям вообще невоистовенно самоубийство, наклонность к которому будто бы передается, в силу атавизма, как пережиток далекого прошлого. Кроме того и изучение самоубийств показывает, что иногда случайное и само по себе не имеющее особо мрачного характера обстоятельство или событие представляет собой лишь *последнюю каплю* в переполненной житейскими страданиями чаше, заставляя перелиться ее содержание через край. И тогда, как говорит Байрон, „настанет грозный час, и упитанная страданиями душа, томившаяся долго и безмолвно, становится полна, как кубок смерти, яда полный“. Тогда, по его же выражению, „уже сердце вынести не может всего, что вынесло оно“. Каждый вдумчивый врач, судья, овященный знают по своим наблюдениям, что житейские драмы подтачивают жизнь постепенно, возбуждая оменой тщетных надежд и реальных разочарований сначала *горечь* в душе, потом *уныние* и наконец, скрытое *отчаяние*, под влиянием которого человек опускает руки и затем поднимает их на себя. Наконец, надо заметить, что многие душевно здоровые и одаренные до гениальности люди были близки к самоубийству или долго и упорно лелеяли мысль о нем, как, например, Байрон, Гете, Бетховен, Жорж Занд, Л. Н. Толстой и т. п.

Вглядываясь в прошлое, приходится признать, что до половины девятнадцатого века, за небольшим исключением, добровольное лишение себя жизни представляется рядом единичных поступков, не имеющих характера и свойства целого общественного недуга, зловеще надвигающегося на современное общество.

Светлый взгляд древних греков был весь устремлен на земную жизнь.

Недаром сами боги принимали в ней непосредственное участие и охотно вкушали от земных радостей. Загробное существование ореди теней имело в глазах эллина мало привлекательности. Ахилл говорит в Елисейских полях: „ах, лучше б овец на земле мне пасти, чем здесь быть царем над теньями“. Поэтому добровольный уход из жизни у греков считался поступком постыдным, и когда в Милете развилось между девушками стремление к самоубийству, оно было прекращено выставлением их мертвых тел на общее позорище. В виду этого совершение самоубийства в некоторых случаях предписывалось, как выполнение уголовной кары по приговору суда (Сократ). Такую же привязанность к жизни мы находим и у евреев, хотя книга Пова и Екклесиаст содержат в себе мысли о тяжести жизни, проникнутые глубоким пессимизмом. Отсутствие у Моисея прямых указаний на загробное существование души—ибо Енох и Илия были взяты *живыми* на небо—ограничивает осуществление лишь земною жизнью. Библейское сказание, отмечая долголетие, как особую милость божью, дающую „часытиться днями“, наполняет душу человека страхом смерти, которая является в своем роде не только „lex“, но и „ропа“. Быть может, поэтому, и до сих пор у евреев сравнительно гораздо меньше самоубийств, при чем знаменательно, что у них случаи сумасшествия значительно превышают случаи самоубийств. Римский мир до Цезарей почти не знает самоубийств, но затем, когда старый республиканский строй общегития быстро разлагается и заменяется жестокостями кесарей из „domus Claudia diis hominibusque invisа—Нерона, Калигулы и других, наступает стремление уйти от произвола и насилия и прекратить свое постылое существование. Отсюда—известная формула: „mori licet cui vivere non placet“ и связанная с этим тоска существования—*taedium vitae*. На это влияли примеры таких самоубийц, как Катон, Брут, Кассий, сказание об Аррии Пет, подающей мужу меч, которым она себя пронзила, со словами „non dolet“, а также учение стойков и эпикурейцев. Исходя из совершенно противоположных взглядов на отношение к жизни, они однако охотились на том, что жизнь оставляет не повинность, а право, от которого всякий во-

лен отказаться. „Вход в жизнь один—говорили эпикурейцы — но выходов несколько“, и основали в Александрии общество прекращения жизни.

Под церковным влиянием христианства человек преисполнен страха о смерти, как перехода к грозной ответственности за земные грехи и увлечения. Жизнь, по учению церкви, уже рассматривается не как радость сама по себе, а как испытание, за которым для многих должно последовать вечное мучение.

Под каждым могильным крестом, снедаемый червями, лежит прах человека, который в „*dies irae, dies illa*“ облечется плотью и предстанет на всезнающий и всевидящий суд. От житейского испытания уходить никто не должен сметь, неся покорно овой крест или осуществляя суровый аскетизм. Единственный самоубийца, о котором повествует Новый Завет—это Иуда. Поэтому церковь и общество сурово относятся к самоубийце и, предоставляя загробную кару за его *грех* божественному правосудию, оставляют за собой назначение самоубийце земной кары за его *преступление*.

Особое развитие этот взгляд получил в постановлении Тридентского собора (1563 г.) который, следуя взгляду блаженного Августина, истолковал шестую заповедь, как безусловно воспрещающую самоубийство, именно—словами „не убий“, не делаящими ни для кого исключений (*legis hujus verbis non ita praescriptum, ne alium occidas, sed simpliciter ne occidas*).

В силу отношения к самоубийце, как к обыкновенному убийце, труп лишившего себя жизни подвергался позорной церемонии—ослиному погребению (*sepulcrum asinum*), после чего сжигался, как жилище сатаны.

Особенной строгостью отличаются французские законы XVII столетия, предписывающие вешать самоубийцу за ноги, а имущество его отдавать королю, который обыкновенно дарил его кому-нибудь из родственников или какой-нибудь правящейся ему танцовщице, или, наконец, как замечает Вольтер, нередко генеральному откупщику за разные денежные услуги. В мемуарах Данжо говорится: „*le roi a donné à madame la dauphine un homme, qui s'est tué lui même; elle espère en tirer beaucoup d'argent*“.

Хотя против беспощадного отношения к сознательному самоубийце высказывались Монтень, Руссо (в Новой Элоизе) и некоторые энциклопедисты, светское наказание за лишение себя жизни пало лишь с революцией.

Затем постепенно наказание самоубийц исчезает из европейских законодательств, оставаясь лишь некоторое время в Англии и на практике почти не применяясь. В России наказуемость самоубийства, в противоположность запад-

ной Европе, постепенно усиливается. Ни уложение царя Алексея Михайловича, ни новоуказные статьи никаких наказаний для самоубийц не содержат, но уже Военный и Морской Артикулы Петра Великого постановляют, что „ежели кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав к лошади, волоча по улицам, за ноги повесить, дабы, смотря на то, другие такого беззакония над собою чинить не отваживались“. Исходя из такого взгляда на самоубийство, проект Уголовного Уложения 1754 г. предлагал тех, которые „со злости или досады или другой причины убийство над собой учинить намерены были“, наказывать плетьюми или содержать в тюрьме два месяца. Составители проекта Уголовного Уложения 1766 г. отнеслись к самоубийцам и покушавшимся на него несколько мягче, предлагая мертвое тело первых при церквях по чину церковного положения не погребать, а отвезть в убогий дом, а вторых, если они в классах состоят, понижать одним чином впредь до выслуги; дворян не служащих и первой гильдии купцов подвергать церковному покаянию на полгода.

Свод законов уголовных (статьи 378—380) ввел в действие карательную меру, состоящую в признании сознательного самоубийцы не имеющим права делать предсмертные распоряжения, почему, как духовное его завещание, так и всякая изъявляемая им воля в отношении к детям, воспитанникам, имуществу или даже чему-либо иному считаются ничтожными и не приводятся в исполнение. Покушавшийся на самоубийство в состоянии вменяемости подлежал наказанию, как за смертоубийство, и должен был быть сослан в каторжные работы. Сверх того, в обоих случаях назначалось безусловное лишение христианского погребения. Составители проекта Уложения 1843 года заменили для покушавшегося каторжные работы тюрьмою от 6-ти месяцев до одного года, предоставили духовному начальству самому в каждом случае решать, следует-ли самоубийцу лишать христианского погребения, постановив о безусловном церковном покаянии покушавшегося, как о „возможном случае для его вразумления, а может-быть и для утешения святым учением религии“. Составители проекта были несколько смущены тем, что ни в каких законодательствах, ни новейших, ни древних, нет примеров уничтожения оделанного самоубийцей завещания, но успокоили себя признанием такого постановления мудрым и полезным, ибо оным, т. е. страхом лишить любезных ему людей предполагаемых опособов существования, человек может быть удержан от самоубийства“.

Этот взгляд разделило и Уложение о наказаниях 1845 года, но оделало лишение христианского погребения *безусловно* обязательным. В таком виде уголовно-граждан-



окая кара за самоубийство перешла последовательно в Уложения 1857, 1866 и 1885 годов. Замечательно, что Устав Врачебный (Том XIII Свода Законов) до 1857 года содержал в себе статью 923-ю, в силу которой тело умышленного самоубийцы надлежит палачу в бесчестное место направить и там закопать. Уголовное уложение 1903 г., введенное в действие лишь в незначительной своей части, оказалось в своих существенных постановлениях лишь „безкрылым желанием“ для юристов, жаждавших коренного обновления карательных постановлений. Мысль его составителей о признании самоубийства и покушения на него ненаказуемыми, „отцвела, не успевши расцвести“, и суровые меры, подтвержденные Уложением 1885 года, продолжали подлежать осуществлению до последней революции.

Илишне говорить, как были жестоки, нецелесообразны и „били по оглобле, а не по коню“ эти меры. Несомненно, что в огромном большинстве случаев, человека, решившегося на самоубийство, не могла смущать мысль о лишении христианского погребения, так как „бесчувственному телу равно повсюду истлевать“, а от „милого предела“ он уходит самовольно,—но для родных и близких, для друзей и почитателей, для „сотрудников жизни“, эти, в сущности, антихристианские меры должны были составлять тяжелое и ничем не заслуженное испытание, связанное для дорогих самоубийце людей с материальными лишениями, нередко с нищетой или с унижительными великодушными подаяниями совершенно чуждого им законного наследника. Кроме того, так как эти меры не применялись к лишившим себя жизни в безумии, сумасшествии или в беспомощности от болезненных припадков, то можно себе представить, какое поле открывалось здесь для горестных хлопот о соответствующем медицинском свидетельстве, для предъявления его судебным или полицейским властям, в ложное доказательство того, что умерший был душевно-больным.

Поэтому нельзя не приветствовать статью 148 советского уголовного кодекса, совершенно исключившего наказуемость самоубийства и покушения на него и карающего лишь за содействие или подговор к этому несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойство или значение совершаемого или руководить своими поступками.

Обращаясь к самоубийству, как к зловещему явлению современного общества, приходится остановиться на подготовительной к нему почве и на некоторых условиях, способствующих его развитию.

Таково *ослабление семьи и разрушение ее внутренней гармонии* под влиянием построения ее на прозаических и корыстных расчетах, без внимания к духовному средству супругов, или на близорукое жаждаемое стремлении. Отсюда

из общего числа самоубийств—10% вызываемых развалом семьи и домашними неприятностями. Надо, впрочем, отметить, что семья и связанные с нею обязанности все-таки более удерживают от самоубийства, чем одиночество, и их больше между вдовами, вдовцами, разведенными и холостяками. Замечательно также, что при сумасшествии это соотношение почти одинаково. Так, по исследованию Энрико Морвелли, в Пруссии на 5000 самоубийств приходится: девиц 2%, замужних 1%, вдов 2½%, разведенных 7%, холостых 5%, женатых 5%, вдовцов 19% и разведенных 58%. В Вюртемберге на 4600 сумасшедших приходится около 3% девиц, 3% замужних, 12% вдов, 34% разведенных; холостых тоже около 5%, женатых 3%, вдовцов 7% и разведенных 40%.

Очевидно, что библейское изречение, „vae soli“! в данных случаях применяется в полной мере. Утрата „сотрудника жизни“ или „потрудилицы и сослужебницы“, как называли в старину добрую жену, действует угнетающим образом на оставшегося, разрушая сложившийся уклад жизни и обрекая, в огромном большинстве случаев, на непоправимое одиночество, с отсутствием целительного уединения. При разводе к этому присоединяется горечь пережитых разочарований и часто драматических испытаний, а также нередко вызванное разводом у мужчин стремление найти забвение в вине или грубой чувственности, вызывающей, в конце-концов, чувство омерзения к опостылевшей жизни.

Очень влияют и причины общественно-политического свойства, состоящие в потере надежд после подема общественного настроения. Война и революция всегда влияют на уменьшение самоубийств. Так, например, в Петербурге, с 1857 по 1864 год, самоубийства и покушения на них шли, уменьшаясь с 47 до 41 в год, несмотря на то, что в этот период времени население увеличилось с 495 тысяч почти до 600 тысяч. Это было время „великих реформ“ Александра II. В обществе и литературе было большое оживление и горячая вера в лучшее будущее, в смысле нравственного и политического развития страны. Но после 1866 года наступает продолжительный период реакции и властного сомнения в целесообразности и благотворности реформ, и самоубийства начинают быстро расти. Влияние политических движений и войн сказывается между прочим в следующих цифрах, относящихся к Японской войне и первой революции: в 1903 году в Петербурге совершено самоубийств и покушений на них 503, в 1904—427; в 1905—354. Затем наступает Портсмутский мир и так называемое *успокоение*, и в 1907 году, согласно докладу доктора Н. Н. Григорьева в психо-неврологическом институте, уже 1370 самоубийств и покушений, в 1909 году их 2250, а в 1910—3196. За пе-

риод с 1914 года до настоящего времени, судя по газетам, число самоубийств за первый период Европейской войны значительно уменьшилось. Относительно оконченных самоубийств в Москве, замечается их рост с 1907 года по 1913 (158—360), а с 1914—падение их числа до 1920 года (295—64).

Среди дальнейших условий огромную роль играет обостренная борьба за существование, вызывающая крайнюю нужду и безработицу, нередкую безвыходность положения и сознание бесплодности и беспросветности борьбы с подавляющими сторонами жизни. Эти условия вызывают около 30% всех самоубийств. Нужно-ли говорить затем о развитии *городской* жизни в ущерб *сельской*, о нравственной неприютности затерявшегося среди каменных громад города нового пришельца, об удалении от животворного умиротворяющего непосредственного влияния природы, о скученности населения в городах, ютящегося в огромном числе в самой нездоровой обстановке, без света и чистого воздуха. Недаром число городских самоубийств *в три раза* выше совершаемых в деревне. Не могу не припомнить, что долгие годы на месте нынешней Пушкинской улицы были пустырь и огороды, отделенные стеной от Невского. Но в семидесятых годах здесь была проложена узкая улица, застроенная пятиэтажными домами с рядом дворов при каждом. Она называлась Новой, и в нее устремилось жить множество обывателей Петербурга, в виду сравнительной дешевизны помещений, в которые зачастую совсем не проникал луч солнца.

Через несколько лет судебный следователь, в участке которого находилась Новая улица, обратился в суд с просьбой о командировании ему помощников, т. к. ему почти непрерывно приходилось присутствовать при вскрытиях. Оказалось, что Новая улица, переименованная впоследствии в Пушкинскую, давала наибольшее число самоубийств в Петербурге. С городом связано большое число фабрик и заводов, закон разделения труда обращает в ряде производств трудящегося в орудие для исполнения отдельных, не связанных между собою работ, органичивающих его деятельность узким кругом, лишь впоследствии расширяющимся в единое целое, в котором он принимает участие, как небольшой винтик в сложной машине. Его труд чужд его творческому замыслу и индивидуальным свойствам и не может давать ему того удовлетворения, которое испытывает например сельский кустарь, являющийся в своем деле творцом от начала до конца. Отсюда специализация фабричного рабочего, вызывающая его в свободном выборе занятий и стесняющая независимость его труда, при неблагоприятных для него условиях или отношениях. Поэтому завтрашний день для него представляется тусклым и тревожным, а день настоящий не дает душевного удовлетворе-

ния. Тут нет места для личной изобретательности и художественной фантазии. Между тем фабрика, как могучий насос, выкачивает из деревни овежие и молодые силы. С городом связаны: преждевременное половое развитие отроков и искусственно вызываемый им разврат юношей, под влиянием дурных примеров товарищей, своеобразного молодечества и широко развитой проституции, а также вредные развлечения, по большей части недоступные сельской жизни. В последнем отношении весьма печальную роль в Европе и у нас играет кинематограф, представляющий, вместо научно-поучительных и просветительных картин, методологию преступлений и сцены самоубийств, действующие заразительно на молодое поколение. Наряду с кинематографом, не менее вредное влияние имеет подчас и печатное слово, относительно которого далеко не все пишущие держатся завета Гоголя о том, что „со словом надо обращаться честно“, в смысле вдумчивости в то влияние, которое оно может оказать на читателя, особенно при его душевной неуравновешенности. Нельзя, конечно, разделять упреков, которые в свое время делали Гете за его „Вертера“, забывая глубокий нравственный характер этого произведения, связанного притом с личными переживаниями великого писателя. Но иначе приходится смотреть на произведения некоторых наших пользующихся известностью писателей, хотя бы за последние 10 лет. Владея в совершенстве формой, некоторые из них, впадая в крайности натурализма, переступают границу между здоровым реализмом и порнографией. При этом большое место отводится своеобразному культу самоубийства. Достаточно, кроме весьма известных произведений, указать хотя бы на сборник „Земля“, изданный в Москве в 1911 году, в котором помещены три произведения, и во всех трех герои стреляются, вешаются, отравляются. Надо заметить, что если даровитые писатели в житейское одержание некоторых из своих творений вводят самоубийство, как *ultima ratio*, то менее даровитые—„им же несть числа“,—повидимому, не чувствуют себя в силах справиться с намеченной темой и спешат призвать на помощь, как *deus ex machina*, самоубийство. В старые годы такому неудачнику, не знавшему, как лучше окончить свой, нередко уже ему самому надоевший труд, и что делать с героем, спрошенные о совете говорили: „да жените его“! Теперь же вероятно советуют, „да пусть он лишит себя жизни“. Некоторые предсмертные записки молодых самоубийц звучат, как явное эхо модных произведений печати, и хочется присоединиться к негодующим словам Горького: „Осторожнее с молодежью, не отравляйте юность... Эпидемия самоубийств среди молодежи находится в тесной связи с теми настроениями, которые преобладают в литературе, и часть вины за истребление

молодой жизни современная литература должна взять на себя. Несомненно, что некоторые явления в литературе должны были повысить число самоубийств“. От беллотристов не желают отстать и многие драматурги. На один из конкурсов по приоуждению Грибоедовской премии в недавнее время было представлено до ста драм и комедий, и семнадцать из них кончались самоубийством одного или двух действующих лиц.

Наконец, к условиям развития самоубийств относится распространение в обществе *пессимизма*, нередко теоретически одностороннего и часто, без всяких разумных оснований, преждевременного. Поэтому нельзя не коснуться того характера, который, преимущественно в интеллигентных кругах, приобретает *воспитание* в недрах семьи. Во многих случаях забота о детях сводится к тому, чтобы всемерно избегать причинить им что-либо неприятное. Отсюда—в самом раннем возрасте детей—стремление поблажать всех их капризам и желаниям, как бы нелепы, а иногда даже и вредны они ни были, лишь бы не огорчить дитя.

Отсюда—замена, во многих случаях, разумного и твердого приказа *омишным* обычаем убеждать ребенка и доказывать ему неосновательность его желания в том возрасте, когда ему непонятны не только существующие житейские отношения, но очень часто даже и самое значение окружающих его предметов. Отсюда—обычай избегать капризов и домогательств ребенка своеобразным подкупом, заменяя осуществление его настойчивого желания подарками, посулами или сладостями. Так возрастают маленькие семейные деспоты, приучаемые не знать никаких препон своим желаниям и невольно привыкающие, с годами, считать себя центром жизни семьи. Так развивается в них оознательное и упорное себялюбие и вовсе не развивается характер, одним из главных проявлений которого надо признать умение обуздывать свои желания и отрекаться от своих мимолетных вожделений. Когда такое *сокровище* своих родителей вступает в отрочество, оно считает всякое материальное и нравственное ограничение, робко представляемое последними, за вопиющее нарушение своих прав, и начинается то возмущение против родителей и презрительное к ним отношение, на которое они горько жалуются, забывая, что сами создали его годами безмысленной потачки и баловства.

Но вот затем наступает суровая жизнь со своими беспощадными требованиями и условиями, и старая родительская забота, сменяющаяся обыкновенно страдальческим недоумением, уступает место личной борьбе за существование в ее различных видах. Тут-то и сказывается отсутствие характера,—борьба для многих оказывается непосильной,

и на горизонте их существования вырастает призрак самоубийства с его мрачною для слабых душ привлекательностью. Есть, конечно, и при таком воспитании многие исключения, в которых здоровые природные задатки берут верх над систематическою порчею со стороны родителей, но тем более жаль тех жертв этой порчи, действиями которых так богата хроника ненормальных явлений нашей общественной и частной жизни. Разумное воспитание, конечно, дело трудное: сказать любимому ребенку „не омей“, „нельзя“ — не особенно весело, гораздо лучше постоянно видеть его веселое личико, предаваться животной радости в созерцании этой дорого стоящей и хрупкой живой игрушки. Но в таком чувстве нет настоящей деятельной любви к ребенку. Это — лень ума и воли, порождаемая отсутствием сознания ответственности перед существом, которому мы осмелились дать жизнь; это, в сущности, грубейший эгоизм, подготавливающий новый эгоизм или, в лучшем даже случае, подготавливающий *эгоизм*, благодаря которому в обиход нашей общественной жизни вторгается так много болезненных самолюбий и бесплодных сомнений.

В противоположность такому легкомысленному отношению к детям, является бездушное и жестокое с ними обращение, осуществляемое преимущественно мачехами и реже отчимами, при постыдном попустительстве одного из родителей ребенка, — а также одним из родителей или обоими вместе и, наконец, людьми, имеющими над детьми юридическую или фактическую власть. Все это нередко приводит несчастного ребенка или отрока к мысли о своей беззащитности и о спасении себя от мучений смертью от собственной руки или к раннему зародышу и дальнейшему пышному расцвету в душе его пессимистического взгляда на жизнь, как на бесконечное поле призрачных и редких радостей и непрерывных лишений и страданий. Рассмотрение дел о самоубийствах этого рода приводит к самым печальным выводам, как относительно жестокой изобретательности в способах причиняемых им физических мучений и нравственных терзаний, так и относительно виновников их подсказанного отчаянием решения. Между последними видное место занимают не простые люди, сами иногда удрученные условиями своего существования, а „цивилизованные“ горожане, нередко иностранцы или представители разных профессий. Тут конкурируют между собою в истязании молодежи содержательница модного магазина и жена адмирала, банкир и фотограф, железнодорожник и полковой врач и т. д. Невольно приходят в голову по этому поводу слова Некрасова: „равнодушно слушая проклятья в битве с жизнью гибнущих людей, из-за них вы слышите ли, братья, тихий плач и жалобы детей?“.

Прогресс отдельных отраслей знаний и техники, конечно, не подлежит сомнению и идет быстрыми шагами вперед, открывая необъятные и неведомые дотоле горизонты, но в духовном отношении человечество не только не успевает следить за ними, но иногда пользуется некоторыми открытиями для жестоких и зверских целей. Достаточно припомнить последние войны с удушающими газами разных систем, боевыми аэропланами, разрывными и отравленными пулями и т. п. Техника развивается — этика не только стоит на месте, но часто „опадает ветхой чешуей“ и уступает место зоологическим инстинктам; сознаваемая и гнетущая человека *имморальность* его поступков уступает место самодовлеющей *аморальности*. Под влиянием всех указанных условий современного общежития развивается упомянутый выше обостренный эгоизм, заставляющий человека оценивать все явления окружающей жизни исключительно по их отношению лично к себе, и создается внутренняя пустота жизни, отрешенной от общих интересов и от солидарности между людьми с их отчужденностью друг от друга.

Современный цивилизованный человек старается как можно чаще оставаться наедине с самим собою и, несмотря на то, что болезненно ищет развлечения в обществе других людей, постепенно становится по отношению к людям мизантропом, а по отношению к жизни — пессимистом. Если такие взгляды и настроения пускают глубокие корни в опустошенную ими душу, то, по большей части, при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, появляется мысль о самоубийстве. Здесь возможен двойной выход. Или на смену сомнения и отчаяния наступает понимание смысла и назначения жизни, и происходит то, что так характерно выразилось в стихотворном обмене мыслей между Пушкиным и Филаретом („Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?“ и т. д.), при чем возникает сознание, что жизнь есть долг, что рядом со страданием в ней существует наслаждение природой и высшими духовными дарами, и что можно сказать с Пушкиным: „я жить хочу, чтоб мыслить и страдать“. Человек же, религиозно настроенный, утверждает в идее об ответственности перед *свидетелем* мыслей, чувств и поступков, — Толстовским *хозяином*, и пред своей совестью, за малодушный уход из жизни, которая, быть-может, была бы полезна близким. Для такого человека несомненна другая жизнь и в ней будущая разгадка его существования, а жизни земная лишь станция на пути, который надо продолжать до конца, покуда, по образному выражению Толстого „станционный смотритель — смерть — не придет и не скажет, под звуки бубенчиков поданной тройки: „пора ехать.“ Или человек приходит к

убеждению, что он — продукт бессознательной и равнодушной природы, исполняющий ее слепую волю к продолжению рода, после осуществления которой ему может быть сказано Шиллеровское: „Мавр оделал свое дело — мавр может уйти“. Здесь смерть уже не на пороге станции житейского пути, а полное его завершение. Современный человек более и более впадает в соображения второго рода или, в отдельных случаях, колеблясь, останавливается на Гамлетовском страхе перед могущими посетить вечный сон сновидениями. „Умереть — уснуть“ — думает герой бессмертного создания Шекспира, и не будь у него отраха онов, он хотел бы мечтать об одном ударе „сапожного шила (bodkin), чтобы избавиться от бессилия прав, обиды гордого, презренных душ, презрения к заслугам“. Самого Шекспира, как видно из его шестидесят шестого сонета, удерживал от „блаженного покоя, по видимому, не один страх, но и привязанность к „владычице“ — любимой женщине. На таком распутье между смертью и любовью, о которой Тютчев спрашивает: „и кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений, самоубийство и любовь?“ — стоит зачастую человек, как видно из многих предсмертных записок самоубийц. Так например, в Москве два рабочих, полюбивших одну и ту же девушку, колеблющуюся отвечать чувству кого-либо из них, пишут, что решили покончить с собою одновременно. Барон Р., потерявший жену, лишает себя жизни, сказав в своей предсмертной записке: „смерть не должна разлучать меня с женою, а сделает нашу любовь вечной“. Две дочери учительницы музыки, тотчас после смерти нежно любимой матери, покушаются на самоубийство, приняв сильный яд. Студент университета в оставленном письме молит бога, знающего, как сильно он любил умершую девушку, на которой хотел жениться, простить его и дать ему с ней свидание в загробной жизни. — Вдова двадцати трех лет, на чувства которой не отвечает любимый ею человек, пишет, что бесплодно надеяться она устала и принимает яд, а если он не подействует, то удавит себя свернутым в жгут платком, что и исполняет в действительности. — Инженер 50 лет, которого „заела тоска по умершей жене“, отравляется. Сын отравившейся директрисы женского пансиона объясняет свое решение застрелиться потерю в матери „лучшего друга и утешительницы“. Гвардейский капитан делает то же „от невыносимой грусти по безнадежно больной сестре“. Шестидесятилетний болгарин „не считает возможным продолжать жить, когда все дорогие сердцу ушли в могилу, и т.д.

Вообще предсмертные записки самоубийц, с содержанием которых я познакомился в моей прошлой судебной службе, не только указывают на мотив, но часто рисуют и самую личность писавшего.



Иногда самоубийства совершаются в повидимому спокойном состоянии, при чем, — например, при отравлении — некоторые наблюдают и описывают последовательное действие яда или, в виду твердо принятого решения, разные свои физические ощущения. Известный поэт-лирик Фет, перед покушением на самоубийство, диктует своей секретарше: „не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий и добровольно иду к неотвратимому“. Клавдия дама пишет: „дорогая тетя! я сейчас в лесу. Мне весело, рву цветы и с нетерпением ожидаю поезда (под который она бросилась). Было бы безумно просить бога о помощи в том, что я задумала, но я все таки надеюсь привести в исполнение свое желание“. Бывший мировой судья, изверившись в жизнь, в день и час, заранее назначенный, чтобы застрелиться, исследует свое нервное состояние, отмечает левоту и легкий озноб, но не хочет согреться коньяком, так как спирт увеличивает кровотечение, „а и без того придется много напачкать“, и за 5 минут до выстрела выражает сомнение, сумеет ли он найти сердце. — Директор гимнастического заведения доктор Дьяковский, предвидя свое разорение, пишет прощальное письмо, затем читает слушателям последнюю лекцию и, по окончании ее, застреливается. Провинциальная артистка Бернгейм, двадцати двух лет, отравляется кокаином и в письме к брату подробно описывает постепенное ощущение, „когда душа отлетает под влиянием яда“, и оканчивает письмо недописанной фразой: „а вот и кон“... Застрелившийся отставной надворный советник Погуляев, сорока пяти лет, пишет 5-го июня письмо, в котором, унося „секрет своей смерти“, заявляет, что желает воспользоваться в полной мере взглядом церкви на самоубийц, чтобы отделаться от отпеваний, панихид и иных комедий и дорого стоящих парадов. В письме от 12 июня он просит власти сделать распоряжение о том, чтобы никаких известий об этом, „право, ничтожном событии“, в газетах не помещалось. К этому письму прилагается записка на имя прислуги: „Евгения, не кричите и шуму в доме не поднимайте, а когда увидите меня мертвым, то не плачьте и докторов не зовите, а поезжайте сказать обо всем сестре моей. Возьмите пакеты на имя ваше и Прасковьи. Обоих вас сердечно благодарю за службу, усердие и заботу обо мне. Меня жалеть не надо. Жить было не по силам тяжело. Умираю. Так лучше“. Свое намерение он приводит в исполнение лишь 16 октября и перед смертью подтверждает все ранее написанное.

В случаях самоотравлений с целью самоубийства, иногда за долго запасаются ядом, меняя менее сильный на более сильный, или готовят обстановку, в которой яд должен быть принят. Так, присяжный поверенный Азо-

чинокий, решившись на самоубийство в виду своих крайне запутанных дел, приобретает цианистый калий во время деловых поездок за-границу и в Москву, предпочитая его кокаину и морфию,—говорит об этом своей знакомой, прощается с нею и через день лишает себя жизни за ужином среди родных и близких, „когда это легче сделать“.

В большинстве предсмертных писем звучит глубокое разочарование в жизни и смертельное уныние. Начальница частной гимназии пишет: „все струны жизни порваны, нет веры в себя и в дело“. Учительница оставляет записку: „я устала жить и не гожусь“. Учитель: „не вините никого: тернистый путь жизни стеснял мне дорогу, я старался освободиться, но напрасно. Теперь не хочу больше идти и не могу“. Особенным отчаянием звучат два находящиеся у меня предсмертных письма. Либавская гражданка, дочь которой, гимназистка 16 лет, была обвиняема жилицей, вернувшейся из маскарада, в краже у нее бриллиантовой серьги,—билась как рыба об лед, чтобы воспитать своих внебрачных детей, брошенных отцом. Больная и истощенная, она не могла перенести павшего на дочь обвинения и отравилась, при чем через два дня потерпевшая, будто бы, от кражи и переехавшая на другую квартиру, нашла у себя серьгу, которую считала украденной. Так же кончила жизнь и другая женщина, многолетний сожитель которой, не желая заплатить по данному ей векселю, обратился за помощью в знаменитое *Третье отделение*, где она была задержана без объяснения причин в течение трех дней, мучимая недоумением и страхом, доведшими ее до совершенного отчаяния. Большинство писем проникнуто чувством предсмертного примирения, даже с теми, кто причинил зло. Нередки письма о прощении. „Хана, береги себя и сына и прости меня за твою исковерканную жизнь: прости, моя святая Хана! Если с тобой не ужился, то с кем же в мире могу жить“, пишет застрелившийся поручик. — „Дорогая моя Ляличка,—пишет землемер своей жене: „когда ты будешь читать это письмо—меня не будет в живых. Ради всего святого, прости меня за все огорчения и обиды, которые я тебе причинил. Я виноват перед тобою бесконечно. Знаю, что ты меня все таки любишь, но прошу—постарайся забыть меня, негодяя. Жажду умереть на твоих руках, но не зову, чтобы ты меня не отговорила“... Но иногда в них встречаются вопли негодования и проклятия. Таково, например, письмо взрослой воспитанницы детского приюта к учителю такового: неужели у тебя повернулся язык оказать, что я была женщиной, когда сошлась с тобою. Знай, окаянный, что ребенок уже шевелится и, умирая, и я и он проклинаем тебя. Ты одним словом мог возвратить жизнь и мне, и ему. Ты не захотел. Пускай же

все несчастья будут на твоей голове. Терпи во всех делах одни неудачи, будь бродягой, пропойцей, и пусть мое про-  
 явят тебе тяготее над тобою ведре и воюду. Я буду преследо-  
 вать тебя днем и ночью... Жить мне безумно хочется"...  
 Многие письма очень лаконичны: „Надоело жить“.— „Жить  
 не стоит“.— „Пора со всем покончить“... — „Счастливо оста-  
 ваться“.— „Пора сыграть в ящик“ (гроб).— „Вот вам и жур-  
 фикс“.— „Куку“.— „Хочется съездить на тот свет“.— „Фить“.  
 — пишет застрелившийся околоточный: „кончил базар.  
 Надоело... Сам подл, а люди еще подлее“.— Многие письма  
 заключают в себе посмертные распоряжения об уплате  
 своих долгов, о плате, в котором желательно быть похоро-  
 ненным, и просьбу устранить вскрытие трупа пишущего.  
 Есть, впрочем и выражения желания, чтобы таковое вскры-  
 тие было произведено для пользы науки. Обзор множества  
 таких писем приводит к заключению, что они писались  
 людьми сознательно и в „здравом уме“, но что большин-  
 ству писавших были неизвестны жестокия требования ста-  
 рого закона о недействительности посмертных распоряжений  
 самоубийцы. Письма покидаемым родителям обыкновенно  
 содержат просьбу о прощении, но изредка бывают черствы  
 и даже циничны. „Милые мои родители—пишет купеческий  
 сын—извещаю вас, что я о белого света уволился, а вы  
 будьте здоровы“. В последние годы эта черствость стала  
 особенно проявляться в том, что решившиеся на самоубий-  
 ство молодые люди не считают нужным хоть как-нибудь  
 мотивировать свой поступок, что ввергает оставшихся в  
 бездну неразрешимых сомнений и мучительных догадок и  
 упреков себе. Так например, два взрослых сына известного  
 инженера лишают себя жизни последовательно один за  
 другим, одним и тем же способом, на расстоянии одного  
 года, не оставив ни одной строчки страстно их любящим  
 матери и больному полуослепшему отцу. То же делают сын  
 выдающегося писателя, сын и дочь крупного администра-  
 тора, жизнерадостная восемнадцатилетняя дочь артистки,  
 сыновья двух замечательных по своему развитию женщин.  
 и т. д.

В число причин, толкающих на самоубийство, некоторые  
 ставят *пьянство*, но с этим едва ли можно согласиться.  
 Привычные пьяницы обыкновенно умирают от органических  
 страданий желудка, печени и мозга, но, даже и опустив-  
 шись на самое дно, цепляются за жизнь, несмотря на ее  
 постыдный характер. Несомненно, однако, что число само-  
 убийств в состоянии опьянения представляет около восьми  
 процентов их общего числа, но это не результат порочной  
 привычки, обращающейся в болезненную страсть, а чаще  
 всего опьянение перед „вольною своей кончиной“ является  
 средством подкрепить ослабевшую перед этим волю и воз-

дать себе искусственное полузабытье. Излишне говорить о самоубийствах учащих, как результате неправильных педагогических приемов, переутомления, неудачи на экзаменах или страха перед ними и т. п. Этому вопросу в последние годы была посвящена обширная литература.

Мучительным толчком к собственноручной казни являются иногда *угрызения совести*. Например, у стрелочника, терзаемого мыслью о том, что он с корыстной целью, ради получения денег за оказываемую помощь, безнаказанно устроил два железнодорожных крушения с человеческими жертвами, или у отставного штабе-капитана, не могшего помириться с невозможностью отыскать владелицу похищенного им из купе второго класса чемодана с двумя тысячами рублей, или у молодой девушки, невыносимо тоскующей от сознания зла, причиненного ею людям, которые ее воспитали, или, наконец, у дворника, которому „никак не полагается жить“ после растления им четырех беззащитных девочек. К этому угрызению близко подходит мучительное чувство от сознания допущенной научной ошибки, повлекшей за собою чью-либо смерть.

Обращаясь к разнообразным и не всегда согласным между собою статистическим матерьялам, касающимся самоубийств, а также к моим личным наблюдениям и воспоминаниям, я могу отметить ряд характерных особенностей этого явления. *Во-первых*—влияние пола, возраста, времени года и дня. В общем числе самоубийц женщины составляют одну четвертую часть. С годами своих жертв самоубийства возрастают, представляя в период от 15 до 20 лет 5% всего числа, повышаясь, затем, до 40 лет, падая от 40 до 50 лет, снова повышаясь от 50 до 60 лет и составляя в период от 60 до 70 лет те же 5%, как и в юности. Недоумение и страх пред грядущей жизнью, преждевременное разочарование в ней и в себе самом, а с другой стороны, запоздалое разочарование в прожитой жизни, старческие недуги, душевная усталость и сознание бесплодности дальнейших усилий—вызывают одинаковую решимость и у юношей и у старцев. После восьмидесяти лет самоубийства случаются редко, при чем побудительная их причина часто бывает покрыта глубокой тайной. Таково, например, самоубийство восьмидесяти двухлетнего священника, найденного отравившимся морфием пред лежащим на столе раскрытым евангелием от Иоанна—и в такой же обстановке и в том же возрасте ученого еврея Шварца, с заменой евангелия „Критикой чистого разума“ Канта, при чем никаких причин их решимости не обнаружено.—Если спросить человека, незнакомого с подробностями настоящего вопроса, о том, когда преимущественно совершаются самоубийства, он большею частью ответит: *в ноябре и декабре*, в скуные светом, короткие, холодные дни, на-

волящие тоску, — ночью, когда приходится оставаться самому с собой, когда отсутствующий сон не приносит забвения горя и забот, а „змея сердечной угрызенья“ чувствуется с особой силой. — И это будет ошибочно. Самые *самоубийствен-ные* месяцы — *май и июнь*, а таковые же часы — с утра до полудня и от часа до трех, т. е. в разгар окружающей жизни и движения. *Во вторых* — влияние *местности, веро-исповедания, национальности и профессии*. У магометан вообще нет самоубийств: фатализм, свойственный исламу, удерживает их от этого; у евреев, как уже замечено, оно довольно редко. Но у христиан самоубийства идут в таком возрастающем численном порядке: католики, затем православные и больше всего протестанты. По направлению с юга на север (исключая Норвегию и отчасти Швейцарию) самоубийства увеличиваются; в горных местностях их менее, чем на равнине; в России они растут в направлении с востока на запад; в Европе их всего более, по отношению к населению, в Саксонии. *Национальный* характер сказывается весьма ярко в обстановке лишения себя жизни и в предомертных записках. Так, например, француз не всегда может отрешиться от внешнего „оказательства“ своего решения и от некоторой театральности в его исполнении; немец — зачастую меланхолический, еще чаще, — сентиментален; русский человек или угнетен душевной болью, или шутиливо относительно к себе, но почти всегда оставляет впечатление сердечной доброты. Молодой француз, оскорбленный тем, что его брачное предложение отвергнуто девушкой, живущей со своей семьей в одной из дачных окрестностей Петербурга, в летний день подходит к террасе, где пьет чай эта семья, раскланивается, прислоняется к стогу сена и, положив себе на грудь фотографическую карточку девушки, простреливает и карточку, и свое сердце. — Молодой немец, приказчик в большом торговом предприятии, обиженный тем, что его неправильно заподозрили в служебных упущениях, в чем перед ним и извинились, застреливается на расвете под Иванов день на скамейке клубного сада, оставив записку: „солнце для меня восходит в последний раз; жить, когда честь была заподозрена, — невозможно, бедное сердце перестанет страдать, когда оно перестанет биться, но жаль, что не от французской пули“. Студент — русский — пишет товарищу: „Володька! Посылаю тебе квитанцию каассы ссуд — выкупи брата, мой бархатный пиджак и носи на здоровье. Еду в путешествие, откуда еще никто не возвращался. Прощай, дружнице, твой до гроба, который мне скоро понадобится“.

По отношению к *профессиям*, те из них, которые носят название „либеральных“ (адвокатура, журналистика, артистическая деятельность, педагогика и т. п.), дают наиболь-

ший, сравнительно, процент самоубийств. Но огромное, не идущее в сравнение ни с какими цифрами, число самоубийств представляет врачебная профессия. По исследованиям Сикорокого и академика Веселовского, число самоубийств в Европе и у нас (с разницею лишь в мелких цифрах) составляет один случай на 1200 смертей, а у врачей, которых двадцать три процента погибает обыкновенно между тридцатью и сорока годами от страдания сердца, приходится один случай самоубийства на 28 смертей. Нужно ли искать лучшего доказательства тяжести врачебной деятельности сопряженной с сомнениями в правильности сделанного диагноза и прописанного лечения (самоубийство профессора Коломнина в Петербурге), с ясным пониманием рокового значения некоторых из собственных недугов, с постоянным лицемерием людских страданий, с отсутствием свободы и отдыха и с громадным трудом подготовки к своему знанию. Большое число жертв самоубийства замечается между фармацевтами, фельдшерами, акушерками и сестрами милосердия. Быть может легкость добывания и хранение под рукою ядов облегчает им приведение в исполнение мрачного намерения.

К особенностям самоубийств надо отнести их коллективность, их заразительность, а также повторяемость. В последние годы часто встречаются случаи, где двое или трое решаются одновременно покончить с собою по большей части вследствие однородности причин и одинаковости побуждений, а иногда и по разным поводам, соединяющим их лишь в окончательном результате. Обыкновенно при этом один или двое подчиняются внушению наиболее из них настойчивого и умеющего убеждать, при чем, однако, именно он то и впадает в малодушное колебание в решительную минуту. Судебная хроника занесла на свои страницы ряд таких случаев. Но бывает и обратное. Достаточно указать на самоубийство девиц Кальмансон и двух Лурье, умерших в артистической обстановке, после исполнения похоронного марша Шопена, потому, что им „жизнь представляется бессмыслием“. В предшествующие последней войне годы коллективные самоубийства развились в женских богадельнях и преимущественно в женских учебных заведениях. Тогда начальницы некоторых институтов и женских гимназий сделались предметом самых произвольных, а иногда и прямо лживых обвинений, вследствие таких коллективных самоубийств и покушений на них, вызванных болезненным предчувствием испытаний и разочарований в предстоящей жизни, подчас особенно ярко рисующихся молодой девушке в переходном возрасте. Коллективные самоубийства встречаются и у несчастных „жертв общественного темперамента“. Так, в 1911 году три проститутки лишили себя жизни сов-

местно, оставив записку: „лучше умереть, чем быть придорожной грязью“...

Наша история знает коллективные самоубийства по религиозным мотивам со стороны фанатических последователей разного рода ересей и расколучений. Под влиянием знаменитого „отрицательного писания инокка Евфросина“, в конце XVII-го и в начале XVIII столетия были одновременные, по предварительному соглашению, массовые самосожжения и самоутопления. Отдельными вопышками это повторялось и потом. Даже в самом конце прошлого века произошло самоубийство членов семейства Ковалева и их присных, в Терновских хуторах, при чем Ковалев закопал живыми в могилу, для избежания наложения „антихристовой печати“ (т. е. занесения в описок народонаселения), двадцать пять человек и в том числе всю овою семью от стара до млада, по их просьбе и согласию, а сам явился с повинной.

Какое-нибудь самоубийство, совершенное в необычных условиях или необычным способом, вызывает ряд подражаний тому и другому. В семидесятых годах в Харькове одна француженка лишила себя жизни неслыханным там дотоле способом—отравлением угольным газом—и вслед затем в течение двух лет подобное самоубийство было повторено четыре раза. Выше уже сказано, какое вредное влияние на молодую и впечатлительную или страдающую душу имеет беллетристика и драматургия, упражняющиеся в описании и логическом или психологическом оправдании самоубийств. Еще более вредно действует, в виду своей распространенности и доступности, ежедневная печать с перечислением всех случаев самоубийств за каждый день, нередко с изложением подробностей выполнения, мотивов и содержания предсмертных писем. Газеты обыкновенно молчали о многих несомненных случаях трогательного самопожертвования и презрения к личной опасности из человеколюбия—и о них приходилось лишь случайно и мимоходом узнавать, в конце года, из описки наград „за спасение погибающих“ на страницах „Правительственного Вестника“. За то целые газетные столбцы отводились случаям убийств, грабежей, облития серной кислотой и в особенности самоубийствам. Весьма распространенная „Петербургская газета“ от 3 марта 1911 года в хронике происшествий посвящает целый столбец перечислению с подробностями двадцати двух самоубийств и покушений на них, совершенных в течение предшествующего дня; такая же Московская газета в 1913 году отдает два широких столбца под статистику самоубийств за май месяц, содержащую сообщение о 640 случаях в 32 городах „от наших корреспондентов по телеграфу“. Не даром у некоторых самоубийц, по словам тех же газет, находили в кармане вырезки таких сообщений, в которых кроме того „популярно-

разируются" и способы лишения себя жизни. Таким путем сделались общеупотребительными, в целях самоотравления, фосфорные спички и получившая огромное применение укусовая эссенция. В 1912 году в 70% всех самоотравлений была пущена в ход эта эссенция, при чем 50% случаев приходилось на домашнюю прислугу.

Нужно-ли при этом говорить о том, каким путем добывались сведения о самоубийствах,—о назойливом и бездушном любопытстве репортеров и „наших корреспондентов" с таинственными расспросами бэлтливой прислуги, о любезной готовности полиции поделиться содержанием составленных ею протоколов и приложенных к ним предсмертных писем,— одним словом, обо всем, что заставлял оставшихся сугубо переживать случившееся горе, о большой тревогой нескать его оглашения на газетных столбцах, подвергаясь тому, что античный поэт характеризует словами „penovare dolores".

К заражающим и внушающим мысль о самоубийстве надо отнести и бывшие одно время в ходу и вызывавшие справедливое порицание анкеты с расспросами учащих юношей и девушек о том, „не являлась-ли у них мысль о самоубийстве, не делали-ли они или кто-либо из членов их семьи попыток к нему, по какой причине, когда и сколько раз, и чувствуют-ли они себя одинокими и не потеряли-ли веры в себя, разочаровавшись в людях и в жизни и в идеалах истины, красоты, добра и справедливости, относятся-ли они к людям безучастно и не предпочитают-ли в литературе культ смерти и упадочность настроения". Постоянно повторяемые известия и рассказы о самоубийствах, обостряя отчаяние решившихся покоячить с жизнью, зачастую подстрекают их на настойчивое повторение попыток к этому. Бросившиеся в воду нередко борются с теми, кто хочет их спасти,—не умершие от яду прибегают к веревке, к ножу или револьверу. В течении апреля 1913 г., в Петербурге, жена рабочего Анна Иванова, волею семейных неприятностей, пять раз пыталась лишить себя жизни всеми доступными ей способами.

Остается упомянуть о случаях, когда самоубийство совершается с несомненной рисовкой и в особо эффектной обстановке. Конечно, в этом отношении Северная Америка побил рекорл. В 1911 году газеты сообщили, что в Балтиморе некий Том Климбот лишил себя жизни на сцене в театре, полном нарочно собравшимися зрителями, которых он оповестил о предстоящем объявлении в газетах. Французский писатель Жерар де Нерваль кончает с собою на верхней площадке лестницы чужого дома, при чем около его трупа сидит прирученный им и взятый нарочно с собою ворон. В Одессе артистка небольшого театра, причесавшись у лучшего парикмахера, надушенная, с приготовленным



букетом цветов, красиво отделанным платьем и белыми атласными туфельками — открывает себе жилы в горячей ванне. Сюда же надо, повидимому, отнести и Кадмину, отравившуюся на сцене и подавшую Тургеневу мысль написать „Клару Милич“, а также довольно частые случаи, где местом приведения в исполнение приговора над собой избираются не отдельные номера, а общие залы гостинниц и ресторанов, при чем нередко забывается уплата по счету.

*Способы* совершения самоубийств отличаются большим разнообразием. Женщины предпочитают отравляться, бросаться с высоты или в воду. Замечательно, что водопад Иматра, в Финляндии, близ Выборга, имел заманчивость для решивших покончить с собою. В 1911 году в него, из приезжих, бросилось в течение лета 59 человек, из коих одна треть женщин.

Существует двойкий взгляд на самоубийство, совершаемое сознательно и без всяких признаков органического душевного расстройства. *Одни* видят в нем исключительно малодушие, вызываемое отвращением к жизни и страхом возможных в ней и даже вероятных испытаний, в виду отсутствия или непрочности так называемого „личного счастья“; *другие*, напротив, считают его проявлением силы характера и твердой решимости. В действительности оба эти взгляда по большей части применимы к одним и тем же случаям: мысль о самоубийстве в своем постепенном развитии, в целом ряде случаев, есть проявление малодушия и отсутствия стойкости воли в борьбе с тяжелыми условиями существования. „Vivere est militare“ — говорит Сенека. Уход с поля этой битвы очень часто вызывается жалостью к себе, которую глубокий мыслитель Марк Аврелий называет „самым презренным видом малодушия“, при чем человек самовольно гасит в себе огонек жизни, могущий согреть других. Но самое осуществление этого желания „уйти“, столь идущее в разрез с естественным чувством самосохранения, требует сильного напряжения воли в минуты, предшествующие нажатию пужаны револьвера, закреплению приготовленной петли, принятию яда и т. п. Довольно часто в этом осуществлении замечается особая торопливость и настойчивое желание поскорей „покончить с собой“, не зависящее при том от окружающей обстановки или среды. В другом месте („На жизненном пути“ том III. — *Житейские драмы*) мною рассказан ряд лично известных мне случаев, в которых, — как например, и в приведенной выше истории о пропавшей серье, — внешний повод к трагическому решению, по жестокой прони судьбы, устранялся совершенно почти вслед за смертью самоубийцы.

Нельзя, однако, отрицать таких положений, в которых самоубийство встречало себе оправдание даже в прежних

карательных о нем постановлениях (Улож. о нак. 1885 года, ст. 1471) и может быть вполне понятно с нравственной точки зрения. Таковы: грозящие целомудренной женщине неостратимое насилие и поругание, которых ничем, кроме лишения себя жизни, избежать нельзя; — необходимость, жертвуя своей жизнью для спасения ближних, „положить душу свою за други своя“ или совершить то же для блага родных. Сюда же можно отнести редкие самоубийства, совершаемые в состоянии тяжкой, неизлечимой болезни, мучительной для окружающих, лежащей на них тяжким бременем, истощающим их трудовые и душевные силы. Тут руководящим мотивом является сознательный альтруизм.

Такова, далеко не полная, картина истребительного непуга, все более и более надвигающегося на людское общежитие. Его вредоносные корни разрастаются в среде „труждающихся и обремененных“, — он пожирает молодые силы, отнимая у них надежды накануне их, быть может, яркого и полезного расцвета, — он толкает людей зрелых и старых на вредный пример потери и упадка энергии при встрече с неизбежными испытаниями жизни, смысл которой состоит в исполнении *долга* относительно людского общежития, а не в призрачном довольстве и спокойствии хрупкого личного счастья.

Весь более или менее цивилизованный и культурный мир находится теперь в состоянии брожения, переживает трагические условия для своего будущего переустройства. При сложных требованиях этого неизбежного строительства дорог каждый работник, каждый, кто может на своем жизненном пути подать утешение, оказать поддержку, внушить бодрость своим ближним. В этой мысли и убеждении надо воспитывать личным примером молодое поколение, отстраняя от него, словом и делом, те вредные влияния, о которых говорилось выше. Не прекращая своего постылого существования, надо уметь *умереть* для своего личного счастья — и *ожить* в деятельной заботе о других, и в этом найти истинное значение и действительную задачу жизни... В сороковых годах прошлого столетия, во Франции, под влиянием увлечения уродливыми сторонами романтизма, чрезвычайно увеличилось, по свидетельству современников, самоубийства. Вот как отзывалась на это знаменитая Жорж Занд, в свое время прошедшая через искушение лишить себя жизни: „нужно любить, страдать, плакать, надеяться, трудиться — *быть!* Падения, раны, недочеты, тщетные надежды — с этим считаться не надо. — нужно встать, собрать окровавленные обломки своего сердца и с этим трофеем продолжать свой путь до призыва к другой жизни“.

---